

# Не прощаюсь

---

## Table-talk 1918 года

На исходе дня, уже в сумерках, вокзал вдруг пришел в движение. Разнесся слух, что будет поезд на Москву. Позавчера под Иващенковым местные остановили и ограбили «скорый», вынув рельсу. Поломка небольшая, но чинить было некому — профсоюз ремонтников митинговал.

И вдруг — поезд! Откуда-то стало известно, что московский пойдет по объездной ветке Сергиевского завода и что состав подадут на третий. Туда все и кинулись, подхватив узлы, чемоданы, детишек.

Самарский вокзал, один из лучших в империи, за год, миновавший после ее бесславной кончины, опустился, словно Барон из пьесы пролетарского писателя Горького: оборвался, ободрался, достиг дна. Топить перестали еще в декабре, и два верхних этажа в студеное зимнее время стояли пустые, туда снизу бегали справлять нужду — где придется. Вокзальные уборные не работали. На первом этаже, в залах ожидания, тоже не топили, но холодно там не было. На скамейках, на подоконниках, на буфетных

стойках, просто на полу сидели и лежали люди, обогревали воздух дыханием, курением, кашлем и матерщиной.

И вот примерно половина всей этой серо-коричневой массы зашевелилась. Вторая половина, которой нужно было в другую сторону, на восток, осталась на месте.

Слух оказался верный. Скоро, пыхтя сизым паром, к платформе подкатился поезд, недлинный, но зато не теплушечный, а с настоящими пассажирскими вагонами: впереди синий, первого класса, за ним второклассный желтый и три простецких зеленых.

У входа в каждый вагон немедленно образовалась давка, и больше всего, конечно, у синего. Во имя равенства и братства билеты были все одинаковые, без мест и, само собой, без класса — езжай где сядешь. Если сядешь.

Милиционер с красной лентой на рукаве и еще одной на шапке стукнул прикладом винтовки о перрон:

— В очередь, граждане! Предъявляй билеты!

Но вместо очереди вышло по Чарльзу Дарвину — более сильные и ловкие распахали или оттерли остальных. Впереди всех оказался немолодой низенький азиат с раскосыми глазами — китаец или, может, киргиз. Революция, будто метла, взмела с российских окраин много разных людей, иных в

глубинке прежде и не видывали. Всем вдруг стало плохо на своем месте, и понеслась по дорогам человеческая пыль, где-то скопляясь и закручиваясь смерчем.

— Куда с тючищем прешь? — гаркнул милиционер. Ему нравилось быть хоть маленьким, да начальником, при винтовке. Времена наступили такие, что без должности и оружия человек стал никто.

У предположительного китайца через плечо действительно был перекинут огромный длинный сверток из овчины, должно быть, нетяжелый — коротышка его слегка придерживал.

— Чего ты мне, нерусь, билет суешь? Декрет был: с большой поклажей нельзя. В порядке борьбы с мешочниками и спекулянтами.

— У меня два билета, уважаемый, — сказал азиат, кланяясь вместе со своей ношей. — Два места.

По-русски он говорил хорошо, только букву «эль» выговаривал не совсем чисто.

— Нельзя! Иди отсюда, не мешай проходу граждан! Кто следующий?

Непонятливый китаец не тронулся с места, его круглое лицо сияло улыбкой.

— Два билета — два места, уважаемый, — повторил он.

Сзади ему на плечо легла огромная рука с синим якорем. Здоровенный матросище, на голову выше толпы, сверху пробасил упряму:

— Ты глухой али глупой? Слыхал, что сказано? Уйди сам, пока тебя под вагон не скинули.

Не оборачиваясь и не переставая улыбаться, азиат ответил:

— Отвали, вша тифозная.

Свободным локтем легонько двинул назад, и матрос перестал быть таким высоким — согнулся вдвое.

А милиционеру китаец сказал:

— Вы сердитый, товарищ, потому что плохо себя чувствуете. Вам надо полежать.

— Ты доктор, что ли? — окрысился служивый. — А ну покажь документ!

— Доктор, доктор, — закивал азиат. — Вам вот здесь совсем больно.

Он ткнул милиционеру пальцем куда-то в живот. Там, кажется, в самом деле было «совсем больно» — казенный человек ойкнул, стал очень бледен, выронил винтовку, пошатнулся.

— Ему нехорошо, — объяснил китаец другим пассажирам, бережно взяв милиционера за ворот. — Он немножко полежит. Подвиньтесь, граждане... Большое спасибо.

С этими словами он уложил сомлевающего служителя социалистической законности на перрон

и, вскинув поклажу повыше, неторопливо поднялся по ступенькам. Следом ринулись остальные.

Внутри оказалось, что позарившиеся на первый класс просчитались. Недавно здесь ехали домой с фронта уссурийские казаки, не пожелавшие расставаться со своими лошадьми, и респектабельный вагон, подобно Самарскому вокзалу, пал жертвой революции. В стены намертво впитался кислый конский запах, а перегородки, полки, столики, диванчики сгорели в костре, от которого на полу, посередине разоренного пустого пространства, осталась прожженная выбоина. Уцелело только одно крайнее купе. К нему и поспешили первые ворвавшиеся, хотя «поспешанием» назвать это было трудно. Никто не осмелился обогнать вежливого китайца с его громоздкой ношей, а он двигался солидно, без суеты. Только когда восточный человек, осмотревшись, уселся, пристроив к окну вертикально свой тюк, в отделение бросились самые боевитые. Вторым ворвался верзила-матрос, уже оправившийся от удара локтем.

— Я наверх, не возражаете? — почтительно спросил он и оккупировал козырную позицию — одну из багажных полок, где можно было разлечься во весь рост.

Следом купе атаковала шустрая молодежь. Двое вокзальных мальчишек, промышлявших тем, что

занимали хорошие места, а потом уступали их за мзду, пристроились — один, белобрысый, у окна напротив китайского свертка, другой, рыжий, на второй багажной полке. Внизу можно было усесться еще троим. Рядом с белобрысым шлепнулась девка, чуть не по нос замотанная в багряный платок. От нее совсем чуть-чуть отстал стройный запыхавшийся юноша в гимназической шинели и фуражке.

— Оп-ля, села! — радостно крикнула девка. — Не сойду — хоть режьте!

Гимназист сказал:

— Vene, vidi, vici. Уф.

Последнее, восьмое место, подле азиата, досталось юркому попику, прощмыгнувшему под рукой у какого-то растяпы.

— Эй, батюшка, нехорошо, — сказал растяпа. — Я перед вами был!

Святой отец назидательно молвил, разматывая шарф крупной домашней вязки и вытягивая из него серебряный наперсный крест:

— Так и в Евангелии сказано, сын мой: «Мнози же будут перви последнии и последни первии». Нам ли, грешным, на то роптать? Хочешь, благословлю тебя троекратно трехсвятным благословением? Ну и зря.

И заерзал, устраиваясь так основательно, что сразу стало понятно: этого тоже хоть режь — не сойдет.

Купе наполнилось, однако рассадка была еще не окончательной.

— А вот кому место лежачее, богатое? А вот кому место самолучшее у окошка? — заорали мальчишки.

— Почему? — спросил обойденный попом растяпа. Услышав цену — сто рублей, — плюнул и отошел.

Место у окна выкупила щекастая баба в дубленой куртке — сторговала за семьдесят керенок и вареное яйцо. Малолетний барыга сунул добычу в шапку, исчез.

А второму, рыжему, не повезло. Какой-то бритый гражданин, в короткой бекеше и кубанке, вместо того чтоб заплатить, молча взял паренька за шиворот да выкинул за дверь.

— Ты что, контра?! — взвизгнул малолеток. — Я те перо воткну!

Но бритый нехорошо щелкнул языком и ощерил зубы, сверкнув золотой фиксой. Мальчишку сдуло.

\* \* \*

Так в «синем» сформировалась поездная аристократия, заселившаяся в единственное купе. Кое-как, на полу и по стеночкам, разместились в основной части вагона прочие пассажиры. Без звонков, без объявлений, по-революционному,

паровоз дернул, вагоны заволновались, застукались, состав поехал.

Ту-тууу! — загудели мутные мартовские сумерки.

— Береги Господь проезжающих и странствующих, — нараспев протянул священник. — Да будет нам в конце пути лучше, нежели в начале, а иначе зачем и ехать?

— Это да, — согласился гражданин с фиксой, ловко запрыгивая на верхнюю полку. — Дрянный город. Провалиться б ему — не жалко.

— Что вы такое говорите. У меня в Самаре дом, родня, — укорила баба, но мирно, без злобы.

Все были очень довольны, что так удачно устроились.

Заглянул кондуктор — оказывается, в поездах еще бывали кондукторы.

— Остальным не предлагаю, — небрежно кивнул он на вагон, — а вам, если желаете, могу выдать керосин. Восемьдесят рубликов склянка. До самой Москвы свету хватит, если зря не жечь.

Электричества, само собой, в поезде не было, да и от ламп остались одни черные дырки, но с потолка свисал керосиновый фонарь, пока не зажженный.

Цена была безумная, но ехать в потемках не хотелось, пассажиры уже и теперь едва видели друг друга.



— Скинем по десяти с носа? — сказала баба и пояснила китайцу: — Вы на двух местах сидите, с вас выйдет двадцать.

Тот поклонился, не споря, но возникли осложнения с другими обитателями купе.

— У меня денег совсем нет, — вздохнул гимназист. — И вообще спать можно в темноте, даже лучше.

Отказалась и девка:

— А мне на первой станции слезать, я с-под Безенчука. Чего это я буду за Москву платить?

Поп прочитал стих:

Тебя от мрака защитит  
Не лампы тщетное горенье,  
А светлой веры крепкий щит  
И сердца чистое моление.

— Ну дело хозяйское, — пожал плечами кондуктор.

Но тут сверху перегнулся фиксатый, широким жестом сунул бумажку:

— Держи сотку, фуражка. Сдачи не надо. Плачу за всю приятную компанию. Знайте Яшу Черного.

Когда купе озарилось красноватым, покачивающимся светом, путешественники смогли разглядеть друг друга лучше. Начались и дорожные разговоры — специфические, революционного времени, когда люди поначалу осторожничают и

своего имени не называют. (Фиксатый не считался — сомнительно было, что он Яша и тем более Черный.)

Разговорчивей всех был батюшка. Рассказал, что приходствует в Сызранском уезде, ездил к преосвященному в Самару, потому что отца благочинного нет и жалованья давно не платят, но проездил, воля Божья, впустую, только зря потратился, потому что на епархиальном подворье теперь комитет бедноты, однако ничего, проживем и без жалованья, Господь не оставит, а и отец ректор в семинарии говаривал: «Хороший поп никогда не пропадет».

Девка жила в городе прислугой у «аблаката по законам», но тот сам «затощал», потому что кому они теперь нужны, законы, других бар тоже не стало и служить негде, а дома отец-матерь и женихи с фронта вернулись.

Бабища промышляла по обменным делам. Возила из Самары по селам нужный товар, возвращалась с продуктами.

— А где товар-то? — спросил ее сомнительный Яша. — Вроде пустая едешь.

Тетка заколебалась — говорить, нет, но ей очень хотелось похвастаться. Полезла куда-то под юбку, звякнула об стол невеликим мешочком.

— Вот. Фунт иголок. В деревне бабам шить нечем. За одну иголочку по мешку муки дают.